

А-Хуань на мгновение замерла, затем положила руку мне на плечо и тихо сказала: «Раньше я выучила несколько песен у Цинян». Она склонила голову и тихо запела народную мелодию. Она пела не на официальном диалекте, и я не понимал многих слов. Мелодия тоже была неточной, с явными перебоями и повторами. В одном месте она даже остановилась, чтобы вспомнить, прежде чем продолжить. Закончив, она смущённо добавила: «Цинян научилась этим песням у детей с уличных переулков. Они не знают правильного произношения и неграмотны, поют, не понимая смысла. Цинян была маленькой, тоже не понимала, выучила у них и пела нам. Когда отец узнал, он запер нас с ней во дворе и заставил стоять на коленях. Ушэнжэнь принёс нам еду, но отец его обнаружил. Еду он не передал, да ещё и взбучку получил — и это после стольких прочитанных книг! Глупее тебя оказался. Если бы я...»

Она замолчала, крепко обняв меня за плечи. Слёзы покатались из её глаз, и она поспешно отвернулась. Я приподнялся и обнял её сзади, дав ей опереться на моё плечо. Обнимая её, я вдруг осознал, что стал выше, — ненамного, но разница была заметна даже сидя. Я мягко похлопал её по спине, слушая, как рыдания постепенно стихают, и постарался утешить: «Ушэнжэнь совсем не глуп. Когда я рекомендовал его, Ведомство чинов проверяло его работы. Говорили, рассуждения его превосходны, да и почерк красив. Вы с сестрой оба такие способные. Матушка на небесах, несомненно, гордится вами».

Я ненароком назвал её матушку «матушкой» — не знаю, заметила ли она, но я сам покраснел. Неуклюже вытерев её слёзы, я попытался разговорить: «У вас в семье у всех односложные имена, почему же Ушэнжэня зовут так? Это домашнее имя?»

Она покачала головой, всё ещё прижавшись ко мне, и тихо ответила: «Матушка была не очень грамотной, лишь училась у нескольких наставников «Сутре созерцания Будды Амитаюса». Имена нам, детям, она дала из этой сутры. Когда я стала жить с матерью, Саньян нарекла меня «Хуань». Раньше меня так не звали».

Я усмехнулся: «Понял. Тебя, наверное, звали Вэй Ушанмэй, потому ты и выросла такой красавицей».

Она бросила на меня неодобрительный взгляд: «Меня звали Уляншоу, а Цинян — Гуаньиньби. Потом матушка решила, что «би» — некрасиво, сказала: «Мы и так из семьи служанок, нельзя использовать такое слово», — и изменила на Гуаньинь. Имена простые, забудь их, пожалуйста».

Я повторил про себя: «Уляншоу» — и три этих обычных слова показались мне неземной музыкой. Полушутя я сказал: «В детстве, когда я ходил в храм, мне всё быстро надоедало. Только увидев статую Будды Амитаюса, чувствовал — будто встречал его в прошлой жизни, такое родное ощущение. Теперь ясно почему: из-за тебя».

Она толкнула меня: «Вечно ты несёшь вздор, не боишься, что Будда покарает?» Произнеся это, она вдруг переменялась в лице, благоговейно поклонилась на запад, что-то пробормотала и потянула меня поклониться вместе с ней. Я и не знал, что она столь набожна. Послушно поклонившись несколько раз, я снова ухмыльнулся: «Тогда я буду звать тебя не А-Хуань, а А-Шоу, ладно?»

Она прищурилась, толкнула меня на кровать и накрыла одеялом с головой: «Спи».

Я поёрзал под одеялом, но в конце концов снова обнял её, осыпая поцелуями. Меня вдруг осенило, и я прошептал ей на ухо: «Да обретёшь ты жизнь безграничную, да коснётся тебя свет и обретёшь вечный покой».

Она перевернулась, взглянула на меня и, сжав мою руку, произнесла: «Да обретёшь ты в конце жизни мужское рождение, да родишься из лотоса в пруду семи сокровищ».

Я смотрел на неё, не зная, смеяться или плакать, но, подумав, лишь улыбнулся и крепче обнял: «Да не будет больше в мире никого, кто приносит обеты о «Стране без женщин» и «Отвращении к женскому и перерождении в мужском теле».

Она пошевелилась и еле слышно выдохнула: «Спи».

Едва занялась заря, я сменил одежду на тёмно-зелёную, покинул дворец, накинул мили, оседлал мула и, взяв с собой лишь двадцать с лишним слуг, неспешно отправился гулять.

Столица — удивительное место. В тёмно-зелёном видишь совсем иные картины, чем в алом или лиловом. Прежде, глядя из окна повозки, я лишь замечал обилие народа, но улицы не казались узкими. Если мы хотели, то могли мчаться по ним без помех. Но в простой одежде переулки вдруг стали тесными, даже запахи ощущались острее. Маслоторец с жирными вёдрами на коромысле, разносчик с дребезжащим барабаном, патрульные с подручными, важно расхаживающие туда-сюда, казённые возчики, торопящие воловьих повозки ко дворцу и в ведомства, хозяйка винной, что одной рукой запросто поднимала огромную бочку, караван иноземных купцов, от которых несло то ли потом, то ли мускусом, а может, просто верблюдами, бедные книжники, мотающие головами — то ли стихи скандируют, то ли на судьбу жалуются, да ребятня в переулках, гоняющая полуспущенными кожаными мячами и то ссорящаяся, то играющая с уличными мальчишками-чужеземцами...

Всё это было для меня внове, словно величественное дыхание эпохи Тан, прежде мне неведомое. Но, если вдуматься, было оно и до боли знакомым — тот самый шумный, суетливый дух городских улиц, что сопровождал меня почти двадцать лет. По сравнению с величественным, строгим порядком дворца Дамин, эти улочки и переулки куда больше походили на мой настоящий дом.

Я остановился у винной, прикупил паровую лепёшку. Продавщице-чужестранке было лет семнадцать-восемнадцать. Казалось, она встала слишком рано, лениво потянулась, взяла лепёшку прямо рукой, протянула мне и заодно дала сдачу. Я пощупал монету — дешёвую, с большой долей олова, засаленную. Побросав её в ладони, я откусил от лепёшки.

Это привело в ужас Фэн Шиляна, вышедшего со мной. Старик забыл, что велено скрывать моё положение, и взвизгнул: «Госпожа, нельзя есть!» Высокая чужестранка закатила глаза, выпалила что-то на своём языке, шлёпнула черпаком по бочке, и брызги вина обдали Фэн Шиляна с ног до головы, после чего она удалилась внутрь. Фэн Шилян от злости чуть не подпрыгнул, уставившись на меня выпученными глазами: «Госпожа...»

Я швырнул ему свой кошелек — в качестве компенсации от лица продавщицы, — сам ухмыльнулся, взобрался на мула и неторопливо двинулся к городским воротам.

Хотя было ещё рано, у ворот уже выстроилась очередь. Сначала проезжали знатные особы в повозках и верхами, затем уже мы, в тёмно-зелёном, белом и коричневом, — те, кто покидал город, ехали в основном на ослах и мулах, с одним-двумя слугами. Со стороны въезжающих картина была совсем иной: в основном крестьяне, везущие на продажу овощи и зерно, или усталые с дороги купцы, попадались и провинциальные чиновники с помещиками, но сразу видно — не столичные жители.